

с. 2
novan

ОЧНУЛСЯ!

I.

В наше время, когда торжественно поднимается и торжественно обсуждается вопрос о том, полезно-ли книгопечатаніе, и не принесъ ли Гуттенбергъ невечаснаго вреда своимъ изобретениемъ,—когда большинство литературы канкавируетъ и пустословитъ, когда большинство такъ называемаго интеллигентнаго общества канкавируетъ и пустословитъ,—когда вопросъ о томъ, чья ношка божественнѣе—Цукки или Дель Эра, является вопросомъ, заполняющимъ сферу внутренней политики, когда г. Потапенко (подумаешь, важный какой!) не даетъ покоя литературнымъ критикамъ и въ томъ числѣ мѣ, грѣшному, когда... ну, словомъ, когда происходитъ то, что происходитъ—невольно вспоминается мудрое правило Кузьмы Пруткова: «Шлюнь! Не то еще будетъ!». Быть можетъ, дождемся и такого счастливаго времени, когда въ литературѣ будетъ обсуждаться вопросъ о заиѣ гражданскаго шрифта церковно-славянскимъ, квиллици—глаголицей, о перенесеніи Новаго года съ 1-го января на 1-е сентября, и когда рго и сонга будутъ писаться цѣлые томы съ радикальной, либеральной или «гражданской» точки зрѣнія. Да, странное время, и странно оно именно по своей элементарности, удивительной и непостижимой. Въ нашихъ библіотекахъ стоятъ Бокли, Милла и Спенсеры, за нами 1900-лѣтній опытъ всего человечества, у насъ есть «Пошеховская старья» Щедрина, «Записки Охотника» Тургенева, «Поликушка» Толстого, «Сорока-Воронка» Семевского, «Исторія крестьянъ» Бѣляева, изслѣдованія Ключевского, сотни трактатовъ о трудѣ военномъ и трудѣ крѣпостномъ,—и все же «какъ ни мудри» — надо, необходимо надо доказывать, что отношенія помещиковъ къ крестьянамъ были совѣтъ (ахъ, Господи!) не то, что отношенія Христа къ ученикамъ! Мнѣ чуется даже, что «принимая во вниманіе» и «сниходя къ умственной элементарности вашего времени», какаянибудь академія задастъ темы для полученія преміи такого содержания: «исчерпывается-ли нравственность уваженіемъ къ чужому сосовому платку?»; «достаточно-ли умственно развитъ человекъ, трижды выпоротый въ волевымъ правленіи?»; «существуетъ-ли то, что существуетъ, если старшіе возрастомъ и положеніемъ говорить, что оно не существуетъ»; «сколько вредно и полезно для юности всестороннее изученіе теоріи виптовой игры, исторіи и современнаго состоянія балета» и пр. и пр. И будутъ писать объ этомъ, и спорить будутъ, и даже партія образуются... «Братія писатели! въ вашей судьбѣ что-то лежатъ роковое!»—воскликнулъ некогда Некрасовъ, и живи онъ еще, онъ повторилъ бы этотъ стихъ и теперь. На самомъ дѣлѣ, вообразите себѣ такой казусъ. Захожу я на дняхъ къ одному знакомому литератору, человеку умному и идейному, который во время оно (было такое время, читатель) Милла разъяснялъ, съ Боклемъ спорилъ и, вообще, былъ на высокой ступени наукъ и знаній. Застаю я, своего знакомаго за письменнымъ столомъ и я сно вижу, что

не пишетъ, а громы мечетъ. «Въ чемъ, спрашиваю, дѣло?» «А какъ же... Вотъ хочу доказать, что дважды два—четыре!»... «А зачѣмъ вамъ это понадобилось, извините за нескромность?» «Да что вы, батенька, газетъ, что-ли, не читаете? Вѣдь, вотъ доказываютъ, что дважды два — стеариновая свѣчка... Да еще какія комментаріи дѣлаютъ! «До фев... мѣсяца такого-то числа, говорить, дважды два—сапогамъ въ смятку равнялось, такъ и теперь надлежитъ»... Помилуйте, что жъ это такое? Вѣдь Пинагоръ, Архимедъ, Эвклидъ, Лейбницъ, Ньютонъ, Лапласъ, Эйлеръ, Абель—все признавали, что $2 \times 2 = 4$ и вдругъ!.. Нѣтъ, это надо опровергнуть»... И литераторъ взялся за перо и принялся метать молніи. Отъ него зашелъ я къ другому: и этотъ пишетъ. «О чемъ?»—спрашиваю. «Да вотъ, видите-ли утверждаютъ, что литература—это своего рода канканъ, что честности и идей не надо, а нуженъ лишь талантъ, сирѣчь бораошсаніе; утверждаютъ далѣе, что газеты и журналы—мелочная лавочка. Ну, знаете, обидно. Вотъ «Gaulois» ужасно оскорбился за то, что его обвинили, будто онъ 10,000 фр. взялъ въ видѣ взятки отъ панамскаго дѣла. «Не 10,000, говоритъ «Gaulois», а 200,000. За что, молъ, вы меня позорите?». А, каково? Я и хочу припомнить, что на эту тему корифеи говорили и какъ они на литературу смотрѣли... Щедрина, напимѣрь, Гоголь, напимѣрь, Михайловскій, напимѣрь!»—и пошелъ мой литераторъ, пошелъ...

Уходя отъ него, я воскликнулъ: «братія писатели!» И знаете, что въ особенности огорчило меня: это то, что обо всемъ этомъ дѣйствительно *нужно* писать... *Нужно* доказывать, что грамота полезна; *нужно* доказывать, что съчь вредно, нужно доказывать, что мужикъ—человѣкъ!.. Читатель, видите-ли вы трагедію во всемъ этомъ, или не видите? Образованные умные люди вынуждены полемизировать вынуждены говорить, что мужикъ ищетъ свѣта, а не тьмы... «И кипитъ, поспѣваетъ работа, и болитъ, надрывается грудь!..». Болитъ потому, что этой работы могло бы и не быть, ея и быть бы не должно.

А что подѣлаешь?..

II.

Messieurs читатели и mesdames читательницы! Не будьте строги. Вы навѣрное прочли во вторникъ фельетонъ г-на Ивановича. Что вынесли вы изъ него? Передъ вами тотъ фактъ, что идейный, знающій *зачѣмъ* онъ пишетъ, писатель извиняется передъ публикой за неудачную вещь. Г-нъ Ивановичъ строгъ къ себѣ гораздо болѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Представьте себѣ, что онъ страстно ищетъ какого-нибудь факта, отраднаго факта, за который можно бы ухватиться. Нужно, чтобы отдохнула набобѣвшая писательская душа *хоть на чема-нибудь*! Онъ видитъ преобладаніе мерзости, видитъ ничтожество ползающее и ничтожество торжествующее. Онъ чувствуетъ, что люди чумѣютъ, и хочетъ, чтобы люди очнулись и какъ человекъ вѣрующій, что маразмъ—временный маразмъ, готовъ радостно привѣтствовать всякое, самое маленькое возрожденіе! Да в

как не привѣтствовать его? Самая жизненная необходимость принуждаетъ къ этому. Въдъ если необходимо надо разрабатывать элементарныя темы, то это показывается, что публика забыла ихъ. И развѣ не забыла она, что дважды два—четыре, что литература не вскудствѣ, а совсѣмъ другое? Поневоля, когда встрѣтивъ человѣка, который *какъ будто* припомнилъ забытое слово и пролепеталъ его, — поневоля бросаешься къ нему съ воплемъ: «молодой человѣкъ, вашу руку!». Ибо что-нибудь да надо для души!..

Конечно, и здѣсь, какъ вездѣ, можно впасть въ нежелательную крайность. Именно въ такую крайность впасть г. Ивановичъ. Изъ его фельетона читатель знаетъ, что значитъ очнуться. Это значитъ сознать свои общественныя обязанности. Но разсказу же выходить, что очнуться для студента значитъ *не винить*... Маловато. Но это-то и характерно, что человѣкъ, видя вокругъ все мелочи съверныя, горячо обрадовался мелочи хорошей и, конечно, пересолилъ. Опъ покался и даже слишкомъ покался.

Мы же рѣшили занять нѣкую независимую позицію. Сколько намъ ни напѣвай «шопотъ, робкое дыханье, трели соловья» — мы попросимъ суи, почтительно, впрочемъ, отиѣвить и грацію и безмыслицу приведенныхъ словъ. Мелочь есть мелочь и къ ней надо относиться не безъ юмора. Тему, напр., о томъ, какъ хотѣлъ было очнуться одинъ теленокъ, мы разрабатываемъ такъ:

«Лилипутикъ, или студентъ въ панталончикахъ и рубашечкѣ».

(Дѣйствующія лица: папа, мама, пня, студентъ въ панталончикахъ, мужиченко).

«Дурной мальчикъ Ваня (студентъ IV курса) очень любилъ ходить въ балетъ и садился всегда въ первомъ ряду. Однажды, вернувшись домой изъ балета, дурной мальчикъ Ваня сказалъ своему отцу: «папаса, а Дель-Эла холосо носки вскпдывается». Папаша ему отвѣчалъ: «сумница ты у меня, Вапичка, только все же не забывай, что государственные экзамены не твои». «Я, папаса, не боюсь государственныхъ экзаменовъ. Мнѣ пня говолила, что все списать можно». «Ну, душечка, дѣлай какъ знаешь». Только разъ мальчикъ Ваня, ерѣзанши на бильярдѣ шара, выглянулъ изъ окна трактира и увидѣлъ, что бьютъ мужиченку, и бьютъ его пещадно. Хотя испорченный, но добрый въ душѣ, Ваня былъ очень удивленъ и опечаленъ, только понять вичего не могъ. Опять обратился онъ къ папашѣ и спросилъ: «папаса, за что мужиченку били?». «Ну, милый, это все идеи, ты лучше, прочель бы политическую экономію... Она, въдъ, не свой братъ». «Папаса, я хочу знать, за что мужиченку бьютъ», капризно настаивалъ Ваня. «Бьютъ его за то, что опъ украсть булку». «А это вехолосо, папа, укласть булку?». «Не хорошо. Ну, будь же пайнойкой, отстань». «А бить за это холосо?» «Хорошо». Ваня успокоился и, по слухамъ сдалъ государственные экзамены...».

Видите, читатель, мой Ваня не очнулся. Почему? Да потому, что это какъ-то естественнѣе. Ванѣ вообще трудно очнуться;

если же съ нимъ это случится, то: «молодой человѣкъ, votre main!»...

Итакъ: тема разсказа г. Ивановича — жизненная; идея разсказа — хороша; тенденція — прекрасна (надо же очнуться!); ошибка — въ формѣ. И напрасно г. Ивановичъ такъ ужъ винить себя: онъ увлекся необходимой элементарностью нашего времени. Теперь же опъ вмѣстѣ съ нами думаетъ, что молодежь — хорошая молодежь и, очувшись, не будетъ лепетать «винтить не надо!», какъ подобаешь молодежи въ панталончикахъ, а будетъ говорить посерьезнѣе и наукой заниматься, какъ подобаешь молодежи въ рейтузахъ!..

III.

Шутки шутками, а мы подошли къ очень важному вопросу: что же, на самомъ дѣлѣ, значитъ очнуться? На эту же самую тему написана повѣсть г-на Чехова «Палата № 6-й!». Посмотримъ, какъ рѣшаешь ее одянь изъ нашихъ молодыхъ беллетристовъ, подающихъ большія надежды. Но — сначала маленькое замѣчаніе. Если кто-нибудь скажетъ мнѣ, что повѣсть во многихъ мѣстахъ производитъ впечатлѣніе мелодрамы, что копецъ ея скромнѣе — я вполне согласусь съ нимъ. Но все же я вижу, что г. Чеховъ дѣлаешь попытку выйги на настоящую дорогу, отрѣшиться отъ той анекдотичности, которая отчасти прославила, отчасти обезславилъ его (все зависяетъ отъ того, кто читаетъ!), и хотеть дать художественное обобщеніе, на что, какъ талантъ, онъ имѣетъ полное право. Обратимся къ «палатѣ № 6-й» съ нашимъ вопросомъ. Сюжетъ этой повѣсти довольно вычурный по формѣ, но не по сущности. Это-то, между прочимъ, и не понравилосъ «Гражданину», ибо ему давай поэзію безъ идей, безъ содержанія, чтобы можно было (зри фельетонъ г-на Южина) слезами надъ вымысломъ обливаться! Трогательная картина: редакция «Гражданина» обливается слезами, и даже восторженными слезами! Редакция «Гражданина», за израсходованиемъ всѣхъ носовыхъ платковъ, требуетъ на помощь простынь, дабы утереть свои восторженныя слезы! Что за причина? А причина та, что редакция «Гражданина» прослыла умной... Вотъ это вымыселъ, и тутъ дѣйствительно можно «гармоніей унитесь и вновь надъ вымысломъ слезами обмочитесь!» Но въ повѣсти г. Чехова этого нѣтъ, — и г. Южинъ недоволенъ.

Повѣсть, повторяю, проста. Убѣдны докторъ Андрей Ефимовичъ, прѣхавши на дѣло молодцамъ и неопытнымъ, убѣждается въ концѣ концовъ, что противъ рожна прать не слѣдуетъ. Больница, въ которой онъ работаетъ — ужасна.

Въ палатахъ, коридорахъ и въ больничномъ дворѣ тяжело было дышать отъ смрада. Больничныя мужики, сидѣлки и ихъ дѣти спали въ палатахъ вмѣстѣ съ больными. Изловались, что жить нѣтъ отъ таракановъ, клоповъ и мышей. Въ хирургическомъ отѣленіи не переводилась рожь. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, въ ваннахъ держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшеръ грабили больныхъ, а про старика доктора разсказывали, будто онъ занимался тайной продажей больничнаго спирта и заваривать себя изъ свдѣлокъ и больныя женщины цѣлый гаремъ. Въ городѣ отлично знали про эти без-

порядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно: одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мужчины и мужики.

Но слабости своей и безхарактерности, борются со всем этим злом, т. е. отсутствием медикаментов, грязью, вонью, воровством служащих, необходимостью принимать в год 12,000 больных—Андрей Ефимович не счел возможным. Он бросил практику, бросил больницу и решился успокоиться. Успокоиться значить—днем лежать и думать, вечером лежать и думать, читать книги, пить пиво, жить в спокойной квартирке, иметь спокойную кухарку Дарью, которая во время накормить, во время напоить... Облывшись и опустившись, Андрей Ефимович создал дѣлую оправдывающую его философию, что совершенно естественно.

«Къ чему, разеуждалъ онъ, мѣшать людям умирать, если смерть есть нормальный и важный конецъ каждаго? Что изъ того, если какой-нибудь торгошъ или чиновникъ проживетъ лишнихъ пять, десять лѣтъ? Если же видѣть цѣль медицины въ томъ, что лекарства облегчаютъ страданія, то невольно напрашивается вопросъ: зачѣмъ ихъ облегчать? Во первыхъ, говорить, что страданія недутъ чловѣка къ совершенству, и, во вторыхъ, если чловѣчество, въ самомъ дѣлѣ, научится облегчать свои страданія иадляями и каплями, то оно совершенно заброситъ религію и философію, въ которыхъ до сихъ поръ находило не только защиту отъ всякихъ бѣдъ, но даже счастье».

Страданія полезны, медикаменты—ложь! Одно горе, что докторъ живетъ на счетъ этого страданія,—но это-то онъ и забылъ. Объ этомъ ему напомнилъ странный случай. Зашелъ онъ какъ-то въ палату № 6-й и разговорился съ сумасшедшимъ. Тотъ указалъ ему на себя, указалъ на страдающее чловѣчество. Своими странными рѣчами, вырвавшимися изъ воспаленнаго мозга, сумасшедшій заинтересовалъ Андрея Ефимовича. Сущность этихъ рѣчей сводилась къ тому, что Андрей Ефимовичъ оправдывается, но не объясняетъ страшнаго факта страданія на землѣ и ищетъ примиренія со всемъ, потому что ему самому хорошо, ему самому тепло и сыто...

Какими путями въ концѣ концовъ Андрей Ефимовичъ, благодаря провинціальной снелетѣ, услужливости друзей и зависти враговъ, очутился въ «сумасшедшей» палатѣ—объяснять не буду. Объ этомъ эпизодѣ надо прочесть самому—онъ великолѣпенъ. Но тутъ то Андрей Ефимовичъ и очнулся. Пробужденіе было страшное. Онъ и не подозрѣвалъ, что его завели обманомъ въ палату № 6-й, чтобы пакѣки оставить въ ней, а между тѣмъ дѣло было такъ. Онъ хотѣлъ выйти, чтобы пройтись по двору: сторожъ грубо оттолкнулъ его...

«Затѣмъ все стихло. Лидкій лунный свѣтъ шелъ сквозь рѣшетки, и на полу лежала тѣнь, похожая на сѣть. Было страшно. Андрей Ефимовичъ сѣлъ и притаилъ дыханіе; онъ съ ужасомъ ждалъ, что его ударитъ еще разъ. Точно кто взялъ сераъ, воткнулъ въ него и вѣсколко разъ повернулъ въ груди и въ кишкахъ. Онъ боли онъ укусилъ подушку и стиснулъ зубы, и вдругъ къ головѣ его среди хаоса ясно молкнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами про-дня въ день эти люди, казавшіеся теперь при лунномъ свѣтѣ черными тѣнями. Какъ могло случиться, что въ продолженіе большо, чѣмъ двадцати лѣтъ, онъ не зналъ и не хотѣлъ знать

этого? Онъ не зналъ, не имѣлъ понятія о боли, значить, онъ не виноватъ, но съестъ, такая же неговорчивая и грубая, какъ Никита, заставила его похолодѣть отъ затылка до пятъ. Онъ вскопчал, хотѣлъ крикнуть на всѣхъ сѣть и обѣзять скорѣе, чтобы убить Никиту, потомъ Хоботова, смотрителя и фельдшера, потомъ себя, но изъ груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались; задыхаясь, онъ повалился на груди халатъ и рубаху, порвалъ и безъ чувствъ повалился на кровать».

Онъ умеръ на другой день, но умеръ, опустившись.

Какъ видитъ читатель, г. Чеховъ остался со своимъ героемъ на самомъ интересномъ мѣстѣ. Иначе, впрочемъ, ему нельзя было и поступить. Андрей Ефимовичъ былъ слишкомъ ужъ старъ и слабъ, чтобы вывести предстоящаго ему муки совѣсти за ненужно и бесплодно провѣтенную жизнь. Весь его разрывъ съ прошлымъ выразился въ одномъ страшномъ порывѣ негодованія, когда онъ бросился на своего старосту Никиту, который не пускалъ его туда, гдѣ тепло, свѣтъ, это... Примирительная философія,—философія, оправдывающая зло и страданіе, разбился въдребезги, разъ носитель ея прикоснулся къ реальному горю—горю меньшаго брата. А въдъ этотъ меньшій братъ «0 лѣтъ стоялъ передъ Андреемъ Ефимовичемъ, смотря на него полными укора глазами, по Андрей Ефимовичъ утѣшался гегеліанствомъ...

Это, по моему, говорить повѣсть г. Чехова. Но это-ли хотѣлъ сказать самъ г. Чеховъ, или онъ хотѣлъ сказать что-нибудь другое, или совсѣмъ ничего не хотѣлъ сказать, какъ это случается подчасъ съ нашими молодыми беллетристами—не знаю. Мнѣ данъ фактъ, толкую его, какъ умѣю, и въ заключеніе на тему объ «очнулся» могу прибавить слѣдующее:

Большая часть литературы канканируетъ и пустословитъ, большая часть интеллигентнаго общества канканируетъ и пустословитъ. И впритѣ, среди этихъ маленькихъ людей, занятыхъ своими маленькими дѣлами, среди всего этого ничтожества ползающаго и ничтожества торжествующаго—жизнь, громадная необъятная жизнь заявляетъ, что существуетъ и она, что съ ней ничего ни канканами, ни пустословіемъ не подѣлаешь. Это жизнь—жизнь народа, жизнь меньшаго брата. Вглядитесь въ нее попристальнѣе, и если вамъ грустно, то это будетъ не прежняя ваша грусть, а другая, если вамъ тяжело—это будетъ другая тяжесть, если больно—другая боль. И если ваша интеллигентная кружковая грусть и маленькія страданія обиженнаго маленькаго самолюбія ведутъ къ отчаянію, къ пессимизму, къ исканію забвенія въ шато-кабакѣ ин гегеліанствѣ—то та народная большая грусть обновитъ васъ и дастъ, быть можетъ, неодолимую силу. Почаще заглядывать туда—въ эту сѣрую массу, поближе быть къ ней въ помышленіяхъ своихъ и дѣлахъ своихъ, чтобы уже, если страдать, то не настоящему страдать, если любить,—то любить настоящее реальное дѣло. А вѣтъ народа его нѣтъ, да и быть не можетъ. И это не фраза, не благопожеланіе—нѣтъ, это фактъ, на сторону котораго сама необходимость... П. Скриба.